

«ЗЛАЯ СОВЕСТЬ СТОИТ ПАЛАЧА» (Народное.)

Сколько же их было, палачей?

Десятки? Сотни? Но, может быть, тысячи или десятки тысяч?

Когда в стране на необозримых пространствах от Чукотки до западных границ длилось и длилось непрерывное «узаконенное» убийство, сколько же требовалось послушных, бестрепетных палаческих рук?! По заведенному порядку эта работа у нас всегда оставалась штучной — пусть жертвы и свозились в фургонах, и приговоры приводились в исполнение пачками, и трагические даты обрывали в одну ночь судьбы многих, не подозревавших о существовании друг друга людей, расстрелявшие все равно оставалось делом штучным.

Число палачей росло непомерно, как если бы в обществе возник новый преуспевающий ремесленный цех, а принадлежность к нему хоть и не афишировалась, но с некоторых пор уже не накладывала на человека позорного клейма. Из служебного пользования исчезло порочащее слово палач, мы не находим его ни в одной из казенных бумаг.

Не стало палача или к ата. Не стало «запленных дел мастеров» — благопристойное общество приняло в себя тысячи рядовых исполнителей приговоров, представителей, как оказалось, не самой редкой на земле профессии.

В Российской империи с екатерининских времен была запрещена смертная казнь, хотя нашлись параграфы для уничтожения Пугачева, для повешения декабристов, и «подручные» средства в виде воинских шпицрутенов или плетей для «торговой казни» на базарных площадях оказывались достаточными для могильной расправы.

Но наступил 1879 год — год смертных казней. Еще 4 апреля 1878 года специальным законом они были возвращены, и военно-окружные суды начали приговаривать к казни «государственных преступников». Тогда-то и оказалось, что в огромной России нет ни одного штатного палача, нет никого, кто мог бы «по праву» и со знанием ремесла повесить преступника!

Можно бы и застрелить, но стрелять положено солдатам, а военный министр после одного расстреливания в августе 1878 года в Одессе осудил «неудобство» подобного употребления армейского оружия, указав на деморализующее влияние расстрела государственных преступников на солдат. Началась долгая департаментская телеграфная эпопея поисков палача. «Слишком грязна и позорна была роль палача в глазах народа», — заметил в этой связи историк спустя полвека, — и палачи повывелись. Петербург запрашивал Киев, Харьков, Варшаву, Одессу, Вильну, и все напрасно: нет палача! Из Варшавы доставили было самозванца и корыстолюбца, но тут же его отпраздники восвоиса, по полному неумению вешать.

Только в апреле 1879 года в Московском губернском тюремном замке отыскался наконец палач Фролов: по законам империи палачи, как прокаженные, должны были быть отделены от общества и содержаться непременно и только в тюрьме.

Доставленный в Петербург для совершения казни Фролов затем на протяжении года курсирует под конвоем из столицы в Киев, из Киева в Одессу и

обратно, и вновь в Петербург, в Николаев, и опять в Киев, в знакомый уже каземат тамошней тюрьмы. Не успел он возвратиться в Петербург, как его везут в Одессу и вновь по кругу губернских городов юга страны. И палач... взбунтовался, он письменно заявил, что «более не желает продолжать эту деятельность и требует отправления в Москву», хотя и в тюремный замок, но поближе к жене и детям.

Год виселичной и поездной, подковной жизни едущего палача империи — поразительная, ошеломляющая гримаса истории, сюжет, достойный Набокова или Кама.

Трудно было найти и запленных дел мастеров для торговых казней, — публичного покаяния плетями близ гостиных дворов, хотя эти мастера

Александр Борцаговский.



жили на воле. Чтобы заполучить такого площадного бойца, власти искушали должностью тех, кто сам был приговорен к посечению и страшился его, но только в редчайших случаях полиция вырывала согласие своей жертвы.

Сказано ведь: слишком грязна и позорна была роль палача в глазах народа!

Так как же случилось, что из ремесла редчайшего и в представлении народа подлого оно превратилось в почти расхожее, и палач благоразвораился в толпе? Ведь каждого, чьи будничные предсмертные фотографии мы видим в «Расстрельных списках», уби кто-то из исполнителей приговоров, никогда прежде не знавший своей жертвы и, может быть, не осмысливший ее как свою жертву, — некая высшая, повелевающая сила словно бы освободила его от личной ответственности, превратила в биомеханический придаток к смертоносному оружию.

Но ведь для этого нужно было прежде всего обесценить — до гроша, до полушки, а вернее сказать, до плева, человеческую жизнь как таковую.

В минувшем году Ленинградская программа телевидения познакомила зрителей с монстром тридцатых годов, со стариком, который, то протелевизировал, то вадрут с горделивой озабоченностью и ностальгическим чувством называл себя старшим или бригадиром порученной ему расстрельной бригады. По его собственному признанию, он обучал, наставлял, выводил в люди около трехсот исполнителей смертных приговоров, а проще говоря — палачей.

Триста палачей в одном городе пусть и двух- или двух с половиной миллионном по тем временам! Старшой вспоминал: справлялись! «Все ли справлялись?» — спросил ошеломленный тележурналист. Старик напряг память: «Как во всяком деле, были и такие, которых не удалось обучить, но — единицы. Дело простое: надо твердо держать руку, вот так, что-

бы прямо в затылок, без мучений. — Он поднял узловатую, подрагивающую руку. — Ребята все получали: хорошие квартиры, ведро спирта всегда у нас стояло... Живи — чего еще надо!.. — И вдруг он вспомнил важную подробность: — У нас специальный сток сделали для крови, труба скрытно выходила в Фонтанку, но так получилось, что там от рыбы вода закипала, рыба почуяла кровь... Пришлось катерами и баржой заслон ставить, чтобы лодки не подходили».

Не прихвастнул ли старшой, не прибавил ли себе весу, назвав цифру 300? Не приписал ли сотню-другую? Что, как не триста, а только сто? Сотня палачей в городе, где в году 1879-м не отыскалось ни одного! Не страшен ли такой прогресс?

Особое значение публикации «Расстрельных списков» в том, что они без лишних слов развенчивают хитроумную ложь о сталинских репрессиях, как о некоей междоусобице партийных верхов, лидеров оппозиции, вожаков фракций, которых, быть может, зря нарекли «врагами народа», но особенно печалиться о них, мол, не стоит, сами заварили «кашу», сцепились в драке, а большая драка без крови не бывает, те, кто из всех сил противится правде, — и заскорузлые сталинисты, и люди, которым мучительно трудно расстаться с иллюзиями, признают сквозь зубы, что да, крепко «обидели» мужика, слишком уж жестоко и неосмотрительно погнали в колхозы, и дворян повыбили, интеллигентов тоже, этих-то путаников особо жалеть не надо, однако расстрелянными «врагами народа» видятся им только матери, именитые граждане, знатные хриstopродавцы...

Но приходят из прошлого лица, краткие, как выстрел, биографии расстрелянных, и каждый понимает: это — геноцид! Страшнейший из всех мыслимых геноцидов: заговор против своего народа, тупое злодейское истребление сотен тысяч людей, кладбищенская, расстрельная кампанейщина. Мы заглянули только на одно московское кладбище, снимаем покровов лжи с крохотного клочка кладбищенской земли, но знаем, что за окраинами множества наших городов, за околицами поселков существуют такие же массовые захоронения, что стреляли в людей не однажды, не в эйфории, а день за днем и год за годом.

Вот и шевелится земля...

Горько признаться, но это так: земля шевелится. Если жизнь истребленных людей имела смысл, а это несомненно, если она была наполнена трудами, надеждами и любовью, то, как может не дышать и не шевелиться земля над их заранее поруганными, утрамбованными так, чтобы не узналось и не открылось, братскими могилами? Три молодых водителя

ЦИКовского гаража расстреляны в один день: какому начальнику они не угодили? Чью спесь задела? Кто оклеветал их? За какое неосмотрительное, небрежное молодое слово или безобидный анекдот они были свхвачены, изморожены на палаческом допросе, а после, чтобы и концов не нашлось, уничтожены выстрелом в затылок?

Помню по давнему посещению Швеции естественную реакцию близких и соотечественников Валленберга на уверения, что невозможно отыскать его могилу в России, тут не до политических систем или предвзятости страдающих родственников — норма льные люди просто не могут представить себе, что над умершим нет знака, могилы, креста, камня или хотя бы заросшего бурьяном холмика.

А мы легко и почти безболезненно представляем себе такое, пройдя небывалые классы жизни. И говорить об этом надо не только ради восстановления правды дня минувшего, но более всего во имя сегодняшнего дня, тысячи и тысячи палачей могли возникнуть только в атмосфере патологического, нулевого обесценивания человеческой жизни. В атмосфере бесчеловечности только самую малость, для проформы, приправленную видимостью суда. Понуждая тысячи солдат стрелять в нестриженные затылки, разрешая изощренное палачество следователям, чья честь и совесть должны были быть безупречными, поощряя жестокость лагерных чинов, поручая службе сваливать трупы в могильные рвы и святотатственно забрасывать землей открытые глаза жертв, — мертвые, но открытые! — творцы геноцида не могли не понимать, что растлевают и нравственно калечат, уничтожают тысячи и десятки тысяч людей, рожденных для лучшей жизни.

В XX веке над нашей землей пронеслось слишком много кровавых ураганов; тьма людей погибали во взаимных жестокостях войн; столь многое и в последней великой войне оплачивалось преступной, стократной ценой жизни; так кощунственно не убраны, не опознаны и никогда не докричатся из болотных и лесных могил наши братья, солдаты той войны, что человеческая жизнь не могла не обесцениться. И все же крайнее и самое губительное выражение этот процесс получил в сталинском геноциде.

Сосуды нашей памяти огрубели, обивестились, словно пораженные склерозом. Они реагируют только на крайности, на огромные цифры, на сотни тысяч или миллионы, а не на одну-единственную для каждого святую жизнь. А когда в расчет берутся только большие цифры, тут уже не до палачей — это, как мор, как стихийное бедствие, и палачу можно спокойно ступешаваться, уйти за кулисы, полупрогнав из памяти сотни взорванных пулями затылков.

Думаю, что и сегодня наука могла бы сказать нам, сколько нынешних бед, преступлений, насилий, взрывов, автоматных очередей, выпущенных по наполненным людьми машинам и автобусам, сколько напрасной крови в угоду националистической спеси, сколько жестоких вожделений и мысленных покушений на чужую жизнь рождено и подпитывается именно этим падением ее цены.

Пока сознание и воображение людей не потрясется простой истиной, что грешная наша земля шевелится и стонет, все гордые и такие привычные нам заявления о том, что человек есть высшая ценность, не уберегут нас от бед.